

Саша Чёрный

Первое знакомство



*Часть сборника
Избранная проза*



Саша Чёрный

Первое знакомство

«Public Domain»

1912

Чёрный С.

Первое знакомство / С. Чёрный — «Public Domain», 1912

«Станция Мценск. Чемодан в одну руку, портплед в другую и на платформу. Поезд взвизгнул и укатил, а я остался. Скамейка с веселым соседом-скорняком, свечи на столике, недопитый чай, скептический разговор с наборщиком в коридоре и уютная ночная печаль за окном – где все это?..»

Саша Чёрный

Первое знакомство

Станция Мценск. Чемодан в одну руку, портплед в другую и на платформу. Поезд взвизгнул и укатил, а я остался. Скамейка с веселым соседом-скорняком, свечи на столике, недопитый чай, скептический разговор с наборщиком в коридоре и уютная ночная печаль за окном – где все это?

Холодный ветер, мечущиеся фонари у дверей первого класса и ящик для писем – все такое обычное и чужое. Особенно чужие черные буквы на стене: «Мценск». Сейчас открою дверь, глаза увидят новых людей, и всякий будет нужен, как утопающему – круг.

Носильщик берет мои вещи и, пробуя на руке новый чемодан, с любопытством, но почти-тельно заглядывает в глаза:

- В номера изволите?
- Нет. Лошадей надо. В Торчино.
- Лошадей, ваша милость, не достать, поздно.
- Поздно? Как же быть?
- А вы в номера, с дороги отдохнете, а утречком...
- Далеко?
- Два квартала-с. Номера Бочагова, Еремей довезет.
- Какой Еремей?
- Извозчик то есть, у подъезда. Прикажете нести?
- Несите. Клопов много?

Носильщик улыбается, словно я ему рубль подарил:

- Маленечко есть, господа не обижаются, ничего-с.
- Ну, ладно.

Прохладная пыльная тьма, собачий лай. Влезаю на темные дрожки, прижимаю к груди чемодан и доверчиво всматриваюсь в тьму. Через 10 минут жестокой тряски приехали. Еще новый человек вынырнул из тьмы, потащил вещи и привел наверх. Оказался блондином; конечно, заспанным, конечно, грязным и, конечно, первые слова: «Пожалуйста паспорт».

Вхожу в номер, закрываю за собой дверь и оглядываюсь. Чужое... чужое, – там, за ставнями, сотни верст тьмы, незнакомой земли, лесов и пещерных жилищ, – здесь квадрат, оклеенный малиновой с золотом бумагой, запах грязного белья и обезьяньей клетки. А в центре я. Кто я? Зачем здесь? Спать.

Старые темные волны подступили, остановили расшатавшиеся ноги, опустили голову... Но ерунда, к черту – спать все-таки надо, а утром будет солнце и все будет иначе. С гадливостью сбросил на пол сальное ватное одеяло и жеваное белье, разостлал на матрац портплед, сверху свою простыню, укрылся пальто и, стараясь не касаться ни одной точкой тела заплеченной стены и железа кровати, укрылся с головой, притаился, согрелся кое-как и через пять минут умер легко и кротко.

.....

Воскрес и ничего не понимаю. Где? Во всех четырех окнах, как в рамах, пестрый нищенский жанр: мелкая речка, водовоз на бочке, заплатанный свайный мост, обшарпанные дома, осевшие и кривые, точно их кто распер изнутри, наличники, окрашенные синькой и охрой, и церкви... одна, две, четыре, шесть, семь, – все разные, игрушечных стилей, яркие, – словно декорация из национального балета. Все такое знакомое по книжкам, выставкам, но почему-то никогда не приходило в голову, что оно существует, где-то живет, кем-то заведено и до сих пор, как было в «Мертвых душах», так и сохранилось. Уездная Помпея, так сказать. Разве только вокзал железной дороги пристроился на окраине.

Звоню:

– Самовар, и как насчет лошадей?

– Сейчас.

Услужаящий засален, заспан, угрюм и пахнет чем-то очень сложным и тяжелым – словом, традиция соблюдена до мелочей. Даже трогательно. Самовар оказался такого цвета, точно его только что выкопали из кургана, чай отдавал мокрой шерстью, а баранки ломались с сухим треском и рассыпались в пальцах. Мне стало смешно.

Солнце залило комнату, и вся эта рвань за окном как-то особенно приветливо и простенько запестрела. Когда там, за окном вагона, после бесконечных квадратов черной и бурой земли, оврагов, перелесков и лужков, вырастали груды крыш, а станция бросала в глаза имя своего городка, чтобы через минуту скрыть его навсегда – крыши эти были, как встречи во сне, слиты и призрачны. А тут, вот сейчас, выйду, увижу, проеду из конца в конец, и каждый нелепый домик с замшившимся тесом на крыше будет как свой и войдет в глаза на утреннем холодке, как новая жизнь и какая-то своя правда.

Черт знает что, – разбежался и вспыхнул, иду навстречу и знаю сам, что не к чему. Чужое и вымороченное. Солнце и из навоза стихотворение в прозе сделает...

Вот и вечер. Мужик с бляхой на затылке, в картузе, в нагольном тулупе. Борода до бровей, глаза как у Шелли, но десять рублей вместо шести, как надо бы взять, все-таки спросил и не уступил. Случай редкий – как не содрать, – поневоле в славянской душе проснулись итальянские инстинкты.

– Как вас зовут?

– Трифон.

– С колокольчиком поедем?

– Уж как полагается; погоди, за город выедем, отвяжу балабон-то. В городе исправник не позволяет.

– А сам небось всегда с колокольчиком?

– Да ему кто ж запретит?

О, какие лошади! И не только у моего извозчика, вон и рядом, и еще вдоль забора, у всех извозчиков такие. Опилками они их кормят или хворостом? Или ничем? Усаживаюсь на ржавые, оборванные дрожки, смотрю и жду. Если бы нищий мог держать свой выезд, у него должен был бы быть точно такой экипаж и лошади. Спины так остры, что глазам больно – их бы куда-нибудь в лошадиную санаторию, что ли, а не гнать за тридцать верст. Овсом кормит, оказывается. Полную торбу под себя подложил.

– Но, эй!

Поехали, я думал – не повезут. Качаюсь вправо, качаюсь влево, голова болтается, камни на мостовой как черные клавиши, протарахтел мост, улица полезла в гору, тащимся, и с каждым шагом из-за крутого взгорья с желтой церковью все шире и шире разворачивается лиловая световая даль... Но глаза еще отворачиваются, ждут полного простора там, за городом, чтоб нанирваниться допьяна, без помехи. Опять повернули. Серые от дождей матовые заборы отливают тусклым блеском на сучках, над заборами – яблони. Кое-где среди ржавых лепестков белеет еще последний цвет, – так давно, так давно не видел... Там, за заборами, скамейки под густыми кустами, беседки, закрытые хмелем, тишина и сырость... Мимо, ни к чему! «Продажа муки и прочего зерна». Еще одна церковь. К чему им столько? Домики все реже, еще один, другой. У последнего старик в пиджаке и нижнем белье открывает ставни. Конец.

– Что это за дом на горе?

– Чего?

– Дом, спрашиваю, чей на горе?

– Не дом, это – тюрьма.

Ну что ж, тюрьма так тюрьма. Два этажа, беленькая. Во всем городе такого большого, красивого дома нет. Спасибо хоть за то, что горизонт украшает...

Все дальше, дальше... Поля подошли к колесам, грачи поднимают головы от земли, смотрят и равнодушно поворачиваются боком; железнодорожный мост спрятал последнюю арку, навстречу зашумела у перекрестка искалеченная ракета, и, как ровный колыбельный напев, закачался у дуги тонкий, чуть надтреснутый томный плеск. Небо стало другим. Громадное, глазом не охватишь, здесь синее, там голубое, облака развернулись и стали, – края как золотые стружки. Воздух – как полная радость, дышишь, словно здоровье пьешь-пьешь, и жажде конца нет. Землей пахнет, травами пахнет, тишина до края земли, и колокольчик словно не к дуге привешен, а к самому сердцу.

Дорога колеи в восемь – земли не жалко – взобралась на пригорок, и вдруг поля исчезли. Въехали в деревню. Прямая длинная улица, только одна, по бокам низкие кубы, одни из бревен, другие кирпичные. Дырки побольше – двери, дырки поменьше – окна. Там и сям перед избами тощие ракитки. Навстречу с криком бегут оборванные дети. Мужик подымается с земли и снимает на всякий случай шапку... Проехали...

Я мог бы теперь быть в Сицилии или в Каире... Или в другом таком месте, где еще можно видеть последние клочки чудес на земном шаре. Отчего же я здесь? Ах, да! Петр Петрович посоветовал: сказал, что в стране, в которой мы живем, есть свой необъятный Каир, – очень удобный к тому же Каир, потому что в нем говорят по-русски. Назвал знакомое село: далеко от города, не очень бедно, есть пруд...

Какое оно, это село? Есть там леса и глубокие складки земли, заросшие прохладными кустами, какие люди, у кого буду жить, что будет перед окном?... Все это уже есть и иным, чем оно есть, быть не может, но я не знаю, я еще не видел, и для меня это новое так многогранно и таинственно... Качаюсь вправо, качаюсь влево, глаза уходят за сизую полосу горизонта, все обычное отошло, душа словно пустая квартира – все выбросила и ждет новых жильцов...

* * *

С северной стороны администрация и культура: волостное, чайная (там же и водка), больница с темно-зеленой каймой шиповника вдоль ограды и двухэтажная веселая школа. Перед школой уютные лохматые липы.

С востока, запада и юга попроще: деревянные и кирпичные избы под огромными нестриженными соломенными крышами (у лавочника железная), по кирпичу белые разводы зигзагами вверх и вниз.

В юго-западном углу крытый колодец с колесом, перед колодцем кирпичный домик с косой трещиной через всю стенку и – слава богу! – две ракиты. У домика крытое крыльцо со скамейкой. На скамейке я. Вот вся топография.

Остальное меняется: облака в небе то стоят над колодцем, то уходят в конец дальней улочки, маленькие дети то рассматривают меня в упор, усевшись перед крыльцом на траве, то садятся сбоку и рассматривают мой профиль. В домике я один. Хозяину его оторвало на шахтах ногу, и так как на деревяшке за плугом не угонишься, то он, вернувшись, устроился сторожем в школе за три версты, а дом сдавал кому придется. В прошлом году больнице под рожениц, в этом – мне. Жена его, Феня, приходит ежедневно готовить обед.

Хорошо ли? Шарик, который в позе сфинкса лежит под ракитой, вероятно, усмехнулся бы на такой вопрос, если б понимал. То один глаз откроет, то другой, оба сразу – лень; язык вывесил и греется. Может быть, где-нибудь за полверсты и лучше. Под березой на опушке рожи... Там повернешься на один бок – небо, как океан в парусах, и сквозная зелень трав так таинственно бормочет и качается, повернешься на другой – белые стволы, словно из тела растут, а верхушки мотаются у самой голубой краски. Лучше там, Шарик, а? Вот ты лежишь,

как колода, под неинтересным деревом, а у пруда можно погонять по кустам, напиться, утенка деревенского сцапать – благо никто не увидит. Но пока туда доберешься... Жара. Летняя лень, как запой. Лежит Шарик, сидят дети, сижу я – и так целыми часами. Дети молчат и смотрят.

Самый маленький и пузатый время от времени наклоняется к белоголовой девочке с черными глазами и, захлебываясь, сообщает ей, очевидно, результат своих наблюдений над моей особой. Что он такое говорит, одному богу известно, потому что у него вместо слов пузыри изо рта выскакивают. Девочка досадливо отодвигает его локтем и еще пристальнее, еще неотвязнее впирается в мою фигуру. Подходят новые и новые, усаживаются на земле и с выражением напряженного ожидания начинают меня разглядывать: лицо, ботинки, цепочку от часов и пр. Мне все более неловко, я чувствую, что надо что-нибудь такое сделать, чтобы их не разочаровать. Вспоминаю, как мы ходили с братьями в детстве в зоологический сад и часами обижено простаивали перед клеткой медведя или какой-нибудь вялой птицы, которые упрямо не желали двигаться, – вспоминаю, кстати, свой давно забытый талант и, победив внезапное волнение артиста перед незнакомой публикой, – заливаюсь лаем на весь выгон.

Успех полный. Шарик вскочил и чуть не схватил меня за губу, вихрястый мальчик с выбитыми зубами перевернулся через голову и обнаружил всю неисправность своего костюма со стороны ближайшей к земле, девочка взвизгнула, самый маленький упал и заплакал, но потом понял, в чем дело, и стал от восторга пускать такие пузыри, что мне страшно стало...

Пришлось повторить еще и еще, потому что слишком уж хорошо они смеялись. Так хорошо, что даже действительный тайный советник улыбнулся бы в ответ и, пожалуй, тоже залаял бы, чтобы снова вызвать такой смех...

Потом я курил и пускал дым из ноздрей, ловил три камня одной рукой, высовывал язык, свистал и уже думал, что лед сломан и можно перейти к более культурным формам общения. Но напрасно. Едва окончилась увеселительная программа, как наступило полное молчание, только пузатый все громче сопел от напряжения, а остальные, как маленькие будды, неподвижно и важно сидели на траве и рассматривали меня.

– Как тебя зовут? – спрашиваю девочку.

Молчание.

– А тебя? – спрашиваю лукавого мальчишку в рваной малиновой рубашке.

– Проглотил язык? Ну ладно, не будете разговаривать, так я больше лаять не буду.

Молчание, но уже начинают переглядываться и прятаться друг за друга. Я встаю со скамьи, подхожу к девочке, опускаюсь рядом на траву и заглядываю в ясные черные глазки:

– Отчего ты не хочешь сказать, как тебя зовут?

И вот происходит нечто необыкновенное: девочка стремительно бросается на землю и в припадке какого-то патологического смущения (другого слова и не подберу) закрывает руками лицо и подворачивает голову под плечо. Обращаюсь к другому – то же самое. Оцепенел, свернулся в клубок, закрыл лицо и так крепко прижался к траве, что и не оторвешь никак. Зато остальные довольны необычайно – в глазах блеснуло не то злорадство, не то сочувствие. Даже языки развязались: «Так ее, так ее! Боишься? Смотри, за руку Серегу берет...» – «Серега, не поддавайся! Черт!»

Я печально вздыхаю, подымаюсь и иду к себе. Еще не один день нам надо рассматривать друг друга, чтобы узнать, как кого зовут. В передней висят «котёлки» (так здесь называются баранки), снимаю и отдаю им. Но взятка не помогла: стремительно съели и опять застыли в прежних позах.

Ухожу в комнату. Жаль опускать занавески, жаль закрывать синее небо и дальнюю улочку с ракетами, еще больше жаль лишить ребят дарового представления – вон они уже сидят друг на друге и разглядывают сквозь оба окошка и меня и комнату. Но что делать? Кроме чемодана и умения лаять, я ведь привез и так называемые нервы, – когда даже такие маленькие люди так долго и неотступно осматривают тебя, начинает казаться, что ты голый, живешь в каком-

то стеклянном аквариуме... Даже не голый, а больше – точно с тебя кожу содрали и смотрят. Они вот падают же на землю, когда подходишь к ним ближе.

.....

Белые стены. Низкий потолок. На стене яркие картинки из «Jugend» (сам вделал в стекла), карта России из путеводителя и Толстой на кнопках, над Толстым огненное орловское полотенце, а над постелью – горячий, веселый оранжевый платок с малиновыми розами и изумрудными листьями. Стены – это главное. Когда вот такие уютные штучки развесишь, как-то спокойнее себя чувствуешь, словно в степи за ширмами сидишь. А иногда засмотришься на яркие краски, на мудрые лица и обрадуешься. Радость маленькая, а все-таки радость. Пусть по существу радость эта как голодному нарисованный окорок, – что делать, если другого нет? Хоть оближешься и вздохнешь, – все лучше, чем бить мух уныния на собственной голове... И стол у меня есть: достал из школы в виде одолжения учителя за интеллигентные разговоры. На столе в банках изумительной нежности полевые цветы: кашки, ромашки и еще что-то лиловенькое, высокое, сквозное и радостное. В углу кровать: композиция из холстины, досок и сена. У дверей висит доска на бечевках, а на ней Диккенс и иные сладкие обманщики, которые здесь так легко и полно входят в голову, а в городе годами валялись на полках.

Вот и вся комната. Хороша, не правда ли? Нарядная, новая маленькая коробка: живи в ней хоть посреди Ледовитого океана, и то не страшно. А тут еще за оконной занавеской сквозит зелень, мягкие пятна изб, небо.

Жужжание бесчисленных мух сливается в один гудящий контрабас, немецкая толстая Mädchen из «Jugend» жизнерадостно упирается в бока, и мне начинает казаться, что немного сонное, немного недоуменное ощущение свободы и безделья, наполняющее тело, есть ощущение счастья.

Бабы, которые приносят яйца, масло и прочие необходимые для каждого мирозерцания предметы, удивляются и ахают – крестьянская изба, и так, мол, красиво. Такое проявление вкуса радует, но досадно: полотенца и платок я у них же купил, а до меня они прели в сундуках.

Что бы вынуть и развесить? Но полотенца эти, как объяснили мне бабы, вышли из моды, а платки они носят на головах. Цветов тоже вокруг сколько угодно. Кувшины есть, и вода есть. Но странно, такая простая мысль, что бабы нарвут цветов и поставят у себя на столе, как-то сразу съеживается и вянет... С полотенцами прямо беда: нужно было одно, а купил три, и теперь носят каждый день без конца. Вытаскивают из сундуков холсты, которые сами пряли, уборы, вышитые их матерями, половики, и все мне. Я удивляюсь, но привычка подтасовывает карты, снисходительно уверяет, что удивляться нечему, что я «покупаю», что здесь деньги редки и дороги и т. д. Но многому уже веришь с трудом, – веришь с трудом, что где-то есть конные статуи на площадях, журнальные направления и прочие городские удовольствия.

На кухне что-то шипит и булькает. Вернулась хозяйка с ведрами, а с ней восьмилетняя дочка Аннушка – тоненькая, быстрая, вся запыхалась и трется о юбку матери. Совсем как жеребенок... Хозяйка красивая, строгая, улыбается редко и говорит со мной, всегда отвернувшись в сторону.

– Скоро обедать?

Феня пробует вилкой:

– Картошки еще твердые, погодить надо.

– Ну, ладно.

Иду в сад. К задней стороне дома плотник за рубль пришил по бокам несколько досок, с четвертой стороны бесплатно торчит соседний плетень. В этом курятнике садовник из соседнего именья насажал цинний, астр и душистого горошку вдоль плетня. Посредине, как я его ни умолял, сделал клумбу, обсадил ее гирляндой из голых ивовых прутьев и утвердил на вершине этого торта горшок с геранью. По бокам, у дверей, посадил несколько бобов, и мой

Эдем был закончен. Скамейку заменил березовый обрубок, а стол – найденная на школьном чердаке старая дверь, которую я с великим трудом утвердил на четырех кольях.

По ту сторону забора все это предприятие казалось талантливым шаржем на дачную жизнь, но я был доволен необыкновенно. И не один я. У забора перебивало все село, и я не заметил ни одной скептической улыбки. Одобряли: одному вспомнилась городская портерная с садом, и он подмигнул мне, показывая на стол: «Пивка бы сюда, барин?» Другие сочувственно смотрели, как я сидел на обрубке, и видно было, что это их успокаивает, что человек в пиджаке так и должен сидеть на обрубке, за перегородкой, перед идиотской клумбой с геранью, что этим он, так сказать, исполняет свои функции и украшает собою село. Я даже слышал, как, проходя мимо, бабы со вкусом говорили другим бабам (вероятно, из другой деревни): «А вон там наш дачник сидит!» И чужие бабы подходили к забору и смотрели на меня.

Теперь привыкли. Я вот стою уже минут десять в дверях, и только два крошечных белобрысых мальчугана из коровинской избы присели на корточки у забора, смотрят на меня и шушукаются. Медленно обхожу клумбу. Во всем теле ленивый хмель безделья и беспечно-сти. Останавливаюсь над грядкой у плетня и смотрю: ростки горошка уже кое-где приподняли землю: сморщенные, бледно-зеленые – что в них? Но глаза никогда не видали, как показываются цветы из земли. В цветочных магазинах они продаются в готовом виде, а здесь я сажал их вместе с садовником, я их поливаю, гоняю от них кур и цыплят, когда те пролезают сквозь самые узкие щели внизу забора и бросаются как угорелые прямо на грядки... Сентиментальность? Скорее, я думаю, любовь; большие ее запасы остаются в городе нераскупоренными, а тут за день столько простого и ясного увидишь, – того, к чему там все пути уже закрыты, – что невольно раскупориваешься и выходишь из берегов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.